

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

МАКСИМ
ГОРЬКИЙ



Мать



МОСКВА
2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г71

Оформление серии *Н. Ярусовой*

Горький, Максим.

Г71 **Мать / Максим Горький.** — Москва : Эксмо, 2024. — 384 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-191761-6

Максим Горький (1868–1936) — русский и советский писатель, поэт, прозаик, драматург, журналист и общественный деятель, публицист. Вышедший в 1906 году роман «Мать» рассказывает историю Пелагеи Ниловны, вдовы фабричного слесаря, чей сын пытается вырваться из беспросветного тяжелого окружения. Несмотря на опасения и страх, она постепенно проникается его революционными идеями и присоединяется к борьбе за права трудящихся.

Роман считается отправной точкой для жанра «социальный реализм».

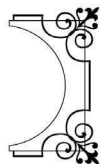
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-191761-6

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных, квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, а навстречу людям плыли иные звуки — тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки.

Вечером, когда садилось солнце и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, — фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость, — на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.

День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг

к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.

По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушные к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать — до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки.

Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.

Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров, — говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомленные трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди, из-за пустяков, бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями, изредка — убийством.

В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью.

По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищам ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рев гудка, разбудить их для работы.

Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки молодежи казались старикам вполне законным явлением, — когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день. И никто не имел желаний попытаться изменить ее.

Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так — о чем же разговаривать?

Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.

Заметив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчетным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее уныло правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнет.

От людей, которые говорили новое, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слобожан...

Пожив такой жизнью лет пятьдесят — человек умирал.

II

Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый, с маленькими глазами; они смотрели из-под густых бровей подозрительно, с нехорошей усмешкой. Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке, он держался с начальством грубо и поэтому зарабатывал мало, каждый праздник кого-нибудь избивал, и все его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить, но безуспешно. Когда Власов видел, что на него идут люди, он хватал в руки камень, доску, кусок железа и, широко расставив ноги, молча ожидал врагов. Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Особенно боялись его глаз, — маленькие, острые, они сверлили людей, точно стальные буравчики, и каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой дикую силу, недоступную страху, готовую бить беспощадно.

— Ну, расходишь, сволочь! — глухо говорил он. Сквозь густые волосы на его лице сверкали крупные, желтые

зубы. Люди расходились, ругая его трусливо воющей руганью.

— Сволочь! — кратко говорил он вслед им, и глаза его блестели острой, как шило, усмешкой. Потом, держа голову вызывающе прямо, он шел следом за ними и вызывал:

— Ну, — кто смерти хочет?

Никто не хотел.

Говорил он мало, и «сволочь» — было его любимое слово. Им он называл начальство фабрики и полицию, с ним он обращался к жене.

— Ты, сволочь, не видишь — штаны разорвались!

Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лет — Влазову захотелось оттащить его за волосы. Но Павел взял в руки тяжелый молоток и кратко сказал:

— Не тронь...

— Чего? — спросил отец, надвигаясь на высокую, тонкую фигуру сына, как тень на березу.

— Будет! — сказал Павел. — Больше я не дамся...

И взмахнул молотком.

Отец посмотрел на него, спрятал за спину мохнатые руки и, усмехаясь, проговорил:

— Ладно...

Потом, тяжело вздохнув, добавил:

— Эх ты, сволочь...

Вскоре после этого он сказал жене:

— Денег с меня больше не спрашивай, тебя Пашка прокормит...

— А ты всё пропивать будешь? — осмелилась она спросить.

— Не твое дело, сволочь! Я любовницу заведу...

Любовницы он не завел, но с того времени, почти два года, вплоть до смерти своей, не замечал сына и не говорил с ним.

Была у него собака, такая же большая и мохнатая, как сам он. Она каждый день провожала его на фабрику

и каждый вечер ждала у ворот. По праздникам Власов от-
правлялся ходить по кабакам. Ходил он молча и, точно
желая найти кого-то, царапал своими глазами лица лю-
дей. И собака весь день ходила за ним, опустив большой,
пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садил-
ся ужинать и кормил собаку из своей чашки. Он ее не
бил, не ругал, но и не ласкал никогда. После ужина он
сбрасывал посуду со стола на пол, если жена не успева-
ла вовремя убрать ее, ставил перед собой бутылку водки
и, опираясь спиной о стену, глухим голосом, наводив-
шим тоску, выл песню, широко открывая рот и закрыв
глаза. Заунывные, некрасивые звуки путались в его ушах,
сбивая с них хлебные крошки, слесарь расправлял во-
лосы бороды и усов толстыми пальцами и — пел. Слова
песни были какие-то непонятные, растянутые, мелодия
напоминала о зимнем вое волков. Пел он до поры, пока
в бутылке была водка, а потом валился боком на лавку
или опускал голову на стол и так спал до гудка. Собака
лежала рядом с ним.

Умер он от грыжи. Дней пять, весь почерневший, он
ворочался на постели, плотно закрыв глаза, и скрипел зу-
бами. Иногда говорил жене:

— Дай мышьяку, отрави...

Доктор велел поставить Михаилу припарки, но сказал,
что необходима операция и больного нужно сегодня же
везти в больницу.

— Пошел к черту, — я сам умру!.. Сволочь! — прохри-
пел Михаил.

А когда доктор ушел и жена со слезами стала уговари-
вать его согласиться на операцию, он сжал кулак и, погро-
зив ей, заявил:

— Выздоровлю — тебе хуже будет!

Он умер утром, в те минуты, когда гудок звал на рабо-
ту. В гробу лежал с открытым ртом, но брови у него были
сердито нахмурены. Хоронили его жена, сын, собака,

старый пьяница и вор Данила Весовщиков, прогнанный с фабрики, и несколько слободских нищих. Жена плакала тихо и немного, Павел — не плакал. Слобожане, встречая на улице гроб, останавливались и, крестясь, говорили друг другу:

— Чай, Палагея-то рада-радешенька, что помер он...

Некоторые поправляли:

— Не помер, а — издох...

Когда гроб зарыли, — люди ушли, а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее...

III

Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери:

— Ужинать!

Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упираясь рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал:

— Мамаша, — живо!..

— Дурачок ты! — печально и ласково сказала мать, одолевая его сопротивление.

— И — курить буду! Дай мне отцову трубку... — тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел.

Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознания, и в голове стучал вопрос:

«Пьян? Пьян?»

Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

— Не надо бы этого тебе...

Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мокрым полотенцем. Он немного отрезвел, но все под ним и вокруг него волнообразно качалось, у него отяжелели веки, и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и бессвязно думал:

«Видно, рано еще мне. Другие пьют, и — ничего, а меня тошнит...»

Откуда-то издали доносился мягкий голос матери:

— Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнешь...

Плотно закрыв глаза, он сказал:

— Все пьют...

Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама знала, что, кроме кабака, людям негде почерпнуть радости. Но все-таки сказала:

— А ты — не пей! За тебя, сколько надо, отец выпил. И меня он намучил довольно... так уж ты бы пожалел мать-то, а?

Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал, что при жизни отца мать была незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев. Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвея, пристально смотрел на нее.

Была она высокая, немного сутулая, ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось темными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам, он немного поднимал бровь вверх, казалось, что и правое ухо у нее выше левого, это

придавало ее лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых темных волосах блестяли седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная...

И по щекам ее медленно текли слезы.

— Не плачь! — тихо попросил сын. — Дай мне пить.

— Я тебе воды со льдом принесу..

Но когда она воротилась, он уже заснул. Она постояла над ним минуту, ковш в ее руке дрожал, и лед тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, она молча опустила на колени перед образами. В стекла окон бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осеннего вечера визжала гармоника, кто-то громко пел, кто-то ругался гнилыми словами, тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщин...

Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Треть дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу — вот и все.

Павел сделал все, что надо, молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстух, галоши, трость — и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадрили и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога, лицо было бледное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну что, весело тебе было вчера?

Он ответил с угрюмым раздражением:

— Тоска зеленая! Я лучше удить рыбу буду. Или — куплю себе ружье.

Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги всех: реже посещал вечеринки и хотя по праздникам куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына становится острее, глаза смотрят все более серьезно и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то или его сосет болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын ее становится непохожим на фабричную молодежь, но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из темного потока жизни, — это вызвало в душе ее чувство смутного опасения.

— Ты, может, нездоров, Павлуша? — спрашивала она его иногда.

— Нет, я здоров! — отвечал он.

— Худой ты очень! — вздохнув, говорила мать.

Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал ее...

Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и уходил на работу, в полдень являлся обедать, за столом перекидывались незначительными словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с те-

чением времени сын говорит все меньше, и в то же время она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для нее, грубые и резкие выражения — выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на себя ее внимание: он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в отношении к матери было что-то новое: он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее труд. Никто в слободе не делал этого...

Однажды он принес и повесил на стенку картину — трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяснил Павел.

Матери понравилась картина, но она подумала: «Христа считаешь, а в церковь не ходишь...»

Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид.

Он говорил ей «вы» и называл «мамаша», но иногда, вдруг, обращался к ней ласково:

— Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьезное и крепкое.

Но росла ее тревога. Не становясь от времени яснее, она все более остро шекотала сердце предчувствием чего-то необычного. Порою у матери являлось недовольство сыном, она думала:

«Все люди — как люди, а он — как монах. Уж очень строг. Не по годам это...»

Иногда она думала: «Может, он девицу себе завел какую-нибудь?»

Но возня с девицами требует денег, а он отдавал ей свой заработок почти весь.

Так шли недели, месяцы, и незаметно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутных дум и опасений, все возрастающих.

IV

Однажды после ужина Павел опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя из кухни, осторожно подошла к нему. Он поднял голову и вопросительно взглянул ей в лицо.

— Ничего, Паша, это я так! — поспешно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к сыну.

— Хочу я спросить тебя, — тихонько сказала она, — что ты все читаешь?

Он сложил книжку.

— Ты — сядь, мамаша...

Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного.

Не глядя на нее, негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил:

— Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей, рабочей жизни... Они печатаются тихонько, тайно, и если их у меня найдут — меня посадят в тюрьму, — в тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла?

Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым. У него был другой голос — ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие, пушистые усы и странно, исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его.

— Зачем же ты это, Паша? — проговорила она.

Он поднял голову, взглянул на нее и негромко, спокойно ответил:

— Хочу знать правду.

Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя навсегда чему-то тайному и страшному. Все в жизни казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться, не думая, и теперь только заплакала тихонько, не находя слов в сердце, сжатым горем и тоской.

— Не плачь! — говорил Павел ласково и тихо, а ей казалось, что он прощается. — Подумай, какую жизнью мы живем? Тебе сорок лет, — а разве ты жила? Отец тебя бил, — я теперь понимаю, что он на твоих боках вымещал свое горе — горе своей жизни; оно давило его, а он не понимал — откуда оно? Он работал тридцать лет, начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их — семь!

Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло; опираясь грудью на стол, он подвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрое от слез, свою первую речь о правде, понятой им. Со всею силой юности и жаром ученика, гордого знаниями, свято верующего в их истину, он говорил о том, что было ясно для него, — говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порою он останавливался, не находя слов, и тогда видел перед собой огорченное лицо, на котором тускло блестели затуманенные слезами, добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, он начинал говорить снова, но уже о ней, о ее жизни.

— Какие радости ты знала? — спрашивал он. — Чем ты можешь помянуть прожитое?

Она слушала и печально качала головой, чувствуя что-то новое, неведомое ей, скорбное и радостное, — оно

мягко ласкало ее наболевшее сердце. Такие речи о себе, о своей жизни она слышала впервые, и они будили в ней давно уснувшие, неясные думы, тихо раздували угасшие чувства смутного недовольства жизнью, — думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни с подругами, говорила подолгу, обо всем, но все — и она сама — только жаловались, никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед нею сидит ее сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова, — все это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына, который верно понял жизнь своей матери, говорит ей о ее страданиях, жалеет ее.

Матерей — не жалеют.

Она это знала. Все, что говорил сын о женской жизни, — была горькая, знакомая правда, и в груди у нее тихо трепетал клубок ощущений, все более согревавший ее незнакомой лаской.

— Что же ты хочешь делать? — спросила она, перебивая его речь.

— Учиться, а потом — учить других. Нам, рабочим, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять — отчего жизнь так тяжела для нас.

Ей было сладко видеть, что его голубые глаза, всегда серьезные и строгие, теперь горели так мягко и ласково. На ее губах явилась довольная, тихая улыбка, хотя в морщинах щек еще дрожали слезы. В ней колебалось двойственное чувство гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть о его молодости и о том, что он говорит не так, как все, что он один решил вступить в спор с этой привычной для всех — и для нее — жизнью. Ей хотелось сказать ему: «Милый, что ты можешь сделать?»

Но она боялась помешать себе любоваться сыном, который вдруг открылся перед нею таким умным... хотя немного чужим для нее.

Павел видел улыбку на губах матери, внимание на лице, любовь в ее глазах; ему казалось, что он заставил ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его веру в себя. Охваченный возбуждением, он говорил, то усмехаясь, то хмуря брови, порою в его словах звучала ненависть, и когда мать слышала ее звенящие, жесткие слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына:

— Так ли, Паша?

— Так! — отвечал он твердо и крепко. И рассказывал ей о людях, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду, а за это враги жизни ловили их, как зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу..

— Я таких людей видел! — горячо воскликнул он. — Это лучшие люди на земле!

В ней эти люди возбуждали страх, она снова хотела спросить сына: «Так ли?»

Но не решалась и, замирая, слушала рассказы о людях, непонятных ей, научивших ее сына говорить и думать столь опасно для него. Наконец она сказала ему:

— Скоро светать будет, лег бы ты, уснул!

— Да, я сейчас лягу! — согласился он. И, наклонясь к ней, спросил: — Поняла ты меня?

— Поняла! — вздохнув, ответила она. Из глаз ее снова покатались слезы, и, всхлипнув, она добавила: — Пропадешь ты!

Он встал, прошелся по комнате, потом сказал:

— Ну, вот, ты теперь знаешь, что я делаю, куда хожу, я тебе все сказал! Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь — не мешай мне!..

— Голубчик ты мой! — воскликнула она. — Может, — лучше бы для меня не знать ничего!

Он взял ее руку и крепко стиснул в своих.

Ее потрясло слово «мать», сказанное им с горячей силой, и это пожатие руки, новое и странное.

— Ничего я не буду делать! — прерывающимся голосом сказала она. — Только береги ты себя, береги!

Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо прибавила:

— Худеешь ты все...

И, обняв его крепкое, стройное тело ласкающим теплым взглядом, заговорила торопливо и тихо:

— Бог с тобой! Живи, как хочешь, не буду я тебе мешать. Только об одном прошу — не говори с людьми без страха! Опасаться надо людей — ненавидят все друг друга! Живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать. Как начнешь ты их обличать да судить — возненавидят они тебя, погубят!

Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, он, улыбаясь, сказал:

— Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда, — люди стали лучше!..

Он снова улыбнулся и продолжал:

— Сам не понимаю, как это вышло! С детства всех боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, которых за подлость, которых — не знаю за что, так просто! А теперь все для меня по-другому встали, — жалко всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче, когда узнал, что не все виноваты в грязи своей...

Он замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в себе, потом негромко и вдумчиво сказал:

— Вот как дышит правда!

Она взглянула на него и тихо молвила:

— Опасно ты переменялся, о, господи!

Когда он лег и уснул, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал кверху грудью, и на белой подушке четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки к груди, мать, босая и в одной рубашке, стояла у его постели, губы ее беззвучно двигались, а из глаз медленно и ровно одна за другой текли большие, мутные слезы.

И снова они стали жить молча, далекие и близкие друг другу.

Однажды среди недели, в праздник, Павел, уходя из дома, сказал матери:

— В субботу у меня будут гости из города.

— Из города? — повторила мать и — вдруг — всхлинула.

— Ну, о чем, мамаша? — недовольно воскликнул Павел.

Она, утирая лицо фартуком, ответила, вздыхая:

— Не знаю, — так уж...

— Боишься?

— Боюсь! — созналась она.

Он наклонился к ее лицу и сердито — точно его отец — проговорил:

— От страха все мы и пропадаем! А те, кто командуют нами, пользуются нашим страхом и еще больше запугивают нас.

Мать тоскливо взвыла:

— Не сердись! Как мне не бояться! всю жизнь в страхе жила, — вся душа обросла страхом!

Негромко и мягче он сказал:

— Ты прости меня, — иначе нельзя!

И ушел.

Три дня у нее дрожало сердце, замирая каждый раз, как она вспоминала, что в дом придут какие-то чужие люди, страшные. Это они указали сыну дорогу, по которой он идет...

В субботу, вечером, Павел пришел с фабрики, умылся, переоделся и, снова уходя куда-то, сказал, не глядя на мать:

— Придут — скажи, что я сейчас ворочусь. И, пожалуйста, не бойся...

Она бессильно опустила на лавку. Сын хмуро взглянул на нее и предложил:

— Может быть, ты... уйдешь куда-нибудь?

Это ее обидело. Отрицательно качнув головой, она сказала:

— Нет. Зачем же?

Был конец ноября. Днем на мерзлую землю выпал сухой, мелкий снег, и теперь было слышно, как он скрипит под ногами уходявшего сына. К стеклам окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то. Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала...

Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонам, люди, странно одетые, недобрые. Вот кто-то уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене.

Стал слышен свист. Он извивался в тишине тонкой струйкой, печальный и мелодичный, задумчиво плутал в пустыне тьмы, искал чего-то, приближался. И вдруг исчез под окном, точно воткнувшись в дерево стены.

В сенях зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула и, напряженно подняв брови, встала.

Дверь отворили. Сначала в комнату всунулась голова в большой, мохнатой шапке, потом, согнувшись, медленно пролезло длинное тело, выпрямилось, не торопясь подняло правую руку и, шумно вздохнув, густым грудным голосом сказала:

— Добрый вечер!

Мать молча поклонилась.

— А Павла дома нету?

Человек медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул шапкой снег с сапога, потом то же сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь на длинных ногах, пошел в комнату. Подошел к стулу, осмотрел его, как бы убеждаясь в прочности, наконец сел и, при-

крыв рот рукой, зевнул. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена, бритые щеки и длинные усы концами вниз. Внимательно осмотрев комнату большими, выпуклыми глазами серого цвета, он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил:

— Что ж, это ваша хата или — нанимаете?

Мать, сидя против него, ответила:

— Нанимаем.

— Неважная хата! — заметил он.

— Паша скоро придет, вы подождите! — тихо попросила мать.

— Да я уже и жду! — спокойно сказал длинный человек.

Его спокойствие, мягкий голос и простота лица ободряли мать. Человек смотрел на нее открыто, доброжелательно, в глубине его прозрачных глаз играла веселая искра, а во всей фигуре, угловатой, сутулой, с длинными ногами, было что-то забавное и располагающее к нему. Одет он был в синюю рубашку и черные шаровары, сунутые в сапоги. Ей захотелось спросить его — кто он, откуда, давно ли знает ее сына, но вдруг он весь покачнулся и сам спросил ее:

— Кто ж это лоб пробил вам, ненько?

Спросил он ласково, с ясной улыбкой в глазах, но — женщину обидел этот вопрос. Она поджала губы и, помолчав, с холодной вежливостью осведомилась:

— А вам какое дело до этого, батюшка мой?

Он мотнулся к ней всем телом:

— Да вы не сердчайте, чего же! Я потому спросил, что у матери моей приемной тоже голова была пробита, совсем вот так, как ваша. Ей, видите, сожитель пробил, сапожник, колодкой. Она была прачка, а он сапожник. Она, — уже после того, как приняла меня за сына, — нашла его где-то, пьяницу, на свое великое горе. Бил он ее, скажу вам! У меня со страху кожа лопалась...

Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью, и ей подумалось, что, пожалуй, Павел рассердится на нее за неласковый ответ этому чудаку. Виногато улыбаясь, она сказала:

— Я не рассердилась, а уж очень вы сразу.. спросили. Муженек это угостил меня, царство ему небесное! Вы не татарин будете?

Человек дрыгнул ногами и так широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись к затылку. Потом он серьезно сказал:

— Нет еще.

— Говор у вас как будто не русский! — объяснила мать, улыбаясь, поняв его шутку.

— Он — лучше русского! — весело кивнув головой, сказал гость. — Я хохол, из города Канева.

— А давно здесь?

— В городе жил около года, а теперь перешел к вам на фабрику, месяц тому назад. Здесь людей хороших нашел, — сына вашего и других. Здесь — поживу! — говорил он, дергая усы.

Он ей нравился, и, повинувшись желанию заплатить ему чем-нибудь за его слова о сыне, она предложила:

— Может, чайку выпьете?

— Что же я один угощаться буду? — ответил он, подняв плечи. — Вот уже когда все соберутся, вы и почествуйте...

Он напомнил ей об ее страхе.

«Кабы все такие были!» — горячо пожелала она.

Снова раздалися шаги в сенях, дверь торопливо отворилась — мать снова встала. Но, к ее удивлению, в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым лицом крестьянки и толстой косой светлых волос. Она тихо спросила:

— Не опоздала я?

— Да нет же! — ответил хохол, выглядывая из комнаты. — Пешком?

— Конечно! Вы — мать Павла Михайловича? Здравствуйте! Меня зовут — Наташа...

— А по бабушке? — спросила мать.

— Васильевна. А вас?

— Пелагея Ниловна.

— Ну вот мы и знакомы...

— Да! — сказала мать, легко вздохнув и с улыбкой рассматривая девушку.

Хохол помогал ей раздеваться и спрашивал:

— Холодно?

— В поле — очень! Ветер...

Голос у нее был сочный, ясный, рот маленький, пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись, она крепко потерла румяные щеки маленькими, красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблучками ботинок.

«Без галош ходит!» — мелькнуло в голове матери.

— Да-а, — протянула девушка, вздрагивая. — Иззябла я... ух как!

— А вот я вам сейчас самоварчик согрею! — заторопилась мать, уходя в кухню. — Сейчас...

Ей показалось, что она давно знает эту девушку и любит ее хорошей, жалостливой любовью матери. Улыбаясь, она прислушивалась к разговору в комнате.

— Вы что скучный, Находка? — спрашивала девушка.

— А — так, — негромко ответил хохол. — У вдовы глаза хорошие, мне и подумалось, что, может, у матери моей такие же? Я, знаете, о матери часто думаю, и все мне кажется, что она жива.

— Вы говорили — умерла?

— То — приемная умерла. А я — о родной. Кажется мне, что она где-нибудь в Киеве милостыню собирает. И водку пьет. А пьяную ее полицейские по щекам бьют.

«Ах ты, сердечный!» — подумала мать и вздохнула.

Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла.

— Э, вы еще молоды, товарищ, мало луку ели! Родить — трудно, научить человека добру еще труднее...

«Ишь ты!» — внутренне воскликнула мать, и ей захотелось сказать хохлу что-то ласковое. Но дверь неторопливо отворилась, и вошел Николай Весовщиков, сын старого вора Данилы, известный всей слободе нелюдим. Он всегда угрюмо сторонился людей, и над ним издевались за это. Она удивленно спросила его:

— Ты что, Николай?

Он вытер широкой ладонью рябое, скуластое лицо и, не здороваясь, глухо спросил:

— Павел дома?

— Нет.

Он заглянул в комнату, пошел туда, говоря:

— Здравствуйте, товарищи...

«Этот?» — неприязненно подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку ласково и радостно.

Потом пришли двое парней, почти еще мальчики. Одного из них мать знала, — это племянник старого фабричного рабочего Сизова — Федор, остролицый, с высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причесанный и скромный, был незнаком ей, но тоже не страшен. Наконец явился Павел и с ним два молодых человека, она знала их, оба — фабричные. Сын ласково сказал ей:

— Самовар поставила? Вот спасибо!

— Может, водочки купить? — предложила она, не зная, как выразить ему свою благодарность за что-то, чего еще не понимала.

— Нет, это лишнее! — отозвался Павел, дружелюбно улыбаясь ей.

Ей вдруг подумалось, что сын нарочно преувеличил опасность собрания, чтобы подшутить над ней.

— Вот это и есть — запрещенные люди? — тихонько спросила она.

— Эти самые! — ответил Павел, проходя в комнату.

— Эх ты!.. — проводила она его ласковым восклицанием, а про себя снисходительно подумала: «Дитя еще!»

VI

Самовар вскипел, мать внесла его в комнату. Гости сидели тесным кружком у стола, а Наташа, с книжкой в руках, поместилась в углу, под лампой.

— Чтобы понять, отчего люди живут так плохо... — говорила Наташа.

— И отчего они сами плохи, — вставил хохол.

— ...Нужно посмотреть, как они начали жить...

— Посмотрите, милые, посмотрите! — пробормотала мать, заваривая чай.

Все замолчали.

— Вы что, мамаша? — спросил Павел, хмурия брови.

— Я? — Она оглянулась и, видя, что все смотрят на нее, смущенно объяснила: — Я так, про себя, — поглядите, мол!

Наташа засмеялась, и Павел усмехнулся, а хохол сказал:

— Спасибо вам, ненько, за чай!

— Не пили, а уж благодарите! — отозвалась она и, взглянув на сына, спросила: — Я ведь не помешаю?

Ответила Наташа:

— Как же вы, хозяйка, можете помешать гостям?

И детски-жалобно попросила:

— Голубушка! Дайте мне скорее чаю! Вся трясусь, страшно ноги иззябли!

— Сейчас, сейчас! — торопливо воскликнула мать.

Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать книгу в желтой обложке,

с картинками. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, вслушивалась в плавную речь девушки. Звучный голос сливался с тонкой, задумчивой песней самовара, в комнате красивой лентой вился рассказ о диких людях, которые жили в пещерах и убивали камнями зверей. Это было похоже на сказку, и мать несколько раз взглянула на сына, желая его спросить — что же в этой истории запретного? Но скоро она утомилась следить за рассказом и стала рассматривать гостей, незаметно для сына и для них.

Павел сидел рядом с Наташей; он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головой и понизив голос, говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. Хохол навалился широкою грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издерганные концы своих усов. Весовщиков сидел на стуле прямо, точно деревянный, упираясь ладонями в колена, и его рябое лицо без бровей, с тонкими губами было неподвижно, как маска. Не мигая узкими глазами, он упорно смотрел на свое лицо, отраженное в блестящей меди самовара, и, казалось, не дышал. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги, а его товарищ согнулся, поставив локти на колена, и, подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Один из парней, пришедших с Павлом, был рыжий, кудрявый, с веселыми зелеными глазами, ему, должно быть, хотелось что-то сказать, и он нетерпеливо двигался; другой, светловолосый, коротко остриженный, гладил себя ладонью по голове и смотрел в пол, лица его не было видно. В комнате было как-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, неведомое ей и, под журчание голоса Наташи, вспоминала шумные вечеринки своей молодости, грубые слова парней, от которых всегда пахло перегорелой водкой,

их циничные шутки. Вспоминала, — и щемящее чувство жалости к себе тихо трогало ее сердце.

Припомнилось сватовство покойника мужа. На одной из вечеринок он поймал ее в темных сенях и, прижав всем телом к стене, спросил глухо и сердито:

— Замуж за меня пойдешь?

Ей было больно и обидно, а он больно мял ее груди, сопел и дышал ей в лицо горячо и влажно. Она попробовала вывернуться из его рук, рванулась в сторону.

— Куда! — зарычал он. — Ты — отвечай, ну?

Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала.

Кто-то открыл дверь в сени, он не спеша выпустил ее, сказав:

— В воскресенье сваху пришлю...

И прислал.

Мать закрыла глаза, тяжело вздохнув.

— Мне не то надо знать, как люди жили, а как надо жить! — раздался в комнате недовольный голос Весовщикова.

— Вот именно! — поддержал его рыжий, вставая.

— Не согласен! — крикнул Федя.

Вспыхнул спор, засверкали слова, точно языки огня в костре. Мать не понимала, о чем кричат. Все лица загорелись румянцем возбуждения, но никто не злился, не говорил знакомых ей резких слов.

«Барышни стесняются!» — решила она.

Ей нравилось серьезное лицо Наташи, внимательно наблюдавшей за всеми, точно эти парни были детьми для нее.

— Подождите, товарищи! — вдруг сказала она. И все они замолчали, глядя на нее.

— Правы те, которые говорят — мы должны всё знать. Нам нужно зажечь себя самих светом разума, чтобы темные люди видели нас, нам нужно на все ответить честно и верно. Нужно знать всю правду, всю ложь...

Хохол слушал и качал головою в такт ее словам. Весовщиков, рыжий и приведенный Павлом фабричный стояли все трое тесной группой и почему-то не нравились матери.

Когда Наташа замолчала, встал Павел и спокойно спросил:

— Разве мы хотим быть только сытыми? Нет! — сам себе ответил он, твердо глядя в сторону троих. — Мы должны показать тем, кто сидит на наших шеях и закрывает нам глаза, что мы всё видим, — мы не глупы, не звери, не только есть хотим, — мы хотим жить, как достойно людей! Мы должны показать врагам, что наша каторжная жизнь, которую они нам навязали, не мешает нам сравняться с ними в уме и даже встать выше их!..

Мать слушала его, и в груди ее дрожала гордость — вот как он складно говорит!

— Сытых немало, честных нет! — говорил хохол. — Мы должны построить мостик через болото этой гниющей жизни к будущему царству доброты сердечной, вот наше дело, товарищи!

— Пришла пора драться, так некогда руки лечить! — глухо возразил Весовщиков.

Было уже за полночь, когда они стали расходиться. Первыми ушли Весовщиков и рыжий, это снова не понравилось матери.

«Ишь заторопились!» — недружелюбно кланяясь им, подумала она.

— Вы проводите меня, Находка? — спросила Наташа.

— А как же! — ответил хохол.

Когда Наташа одевалась в кухне, мать сказала ей:

— Чулочки-то у вас тонки для такого времени! Уж вы позвольте, я вам шерстяные свяжу?

— Спасибо, Пелагея Ниловна! Они кусаются, шерстяные! — ответила Наташа, смеясь.

— А я вам такие, что не будут кусаться! — сказала Власова.

Наташа смотрела на нее, немного прищутив глаза, и этот пристальный взгляд сконфузил мать.

— Вы извините мою глупость, — я ведь от души! — тихо добавила она.

— Славная вы какая! — тоже негромко отозвалась Наташа, быстро пожав ее руку.

— Доброй ночи, ненько! — заглянув ей в глаза, сказал хохол, согнулся и вышел в сени вслед за Наташей.

Мать посмотрела на сына — он стоял у двери в комнату и улыбался.

— Ты что смеешься? — смущенно спросила она.

— Так, — весело!

— Конечно, я старая и глупая, но хорошее и я понимаю! — с легкой обидой заметила она.

— Вот и славно! — отозвался он. — Вы бы ложились, пора!..

— Сейчас лягу!

Она суетилась вокруг стола, убирая посуду, довольная, даже вспотев от приятного волнения, — она была рада, что все было так хорошо и мирно кончилось.

— Хорошо ты придумал, Павлуша! — говорила она. — Хохол очень милый! И барышня, — ах, какая умница! Кто такая?

— Учительница! — кратко ответил Павел, расхаживая по комнате.

— То-то — бедная! Одета плохо, — ах, как плохо! Долго ли простудиться? Родители-то где у ней?..

— В Москве! — сказал Павел и, остановившись против матери, серьезно, негромко заговорил:

— Вот смотри: ее отец — богатый, торгует железом, имеет несколько домов. За то, что она пошла этой дорогой, он — прогнал ее. Она воспитывалась в тепле, ее бало-

вали всем, чего она хотела, а сейчас вот пойдет семь верст ночью, одна...

Это поразило мать. Она стояла среди комнаты и, удивленно двигая бровями, молча смотрела на сына. Потом тихо спросила:

— В город пойдет?

— В город.

— Аа-ай! И — не боится?

— Вот — не боится! — усмехнулся Павел.

— Да зачем? Ночевала бы здесь, — легла бы со мной!

— Неудобно! Ее могут увидеть завтра утром здесь, а это не нужно нам.

Мать, задумчиво взглянув в окно, тихо спросила:

— Не понимаю я, Паша, что тут — опасного, запрещенного? Ведь ничего дурного нет, а?

Она не была уверена в этом, ей хотелось услышать от сына утвердительный ответ. Он, спокойно глядя ей в глаза, твердо заявил:

— Дурного — нет. А все-таки для всех нас впереди — тюрьма. Ты уж так и знай...

У нее дрогнули руки. Упавшим голосом она проговорила:

— А может быть, — бог даст, как-нибудь обойдется?..

— Нет! — ласково сказал сын. — Я тебя обманывать не могу. Не обойдется!

Он улыбнулся.

— Ложись, устала ведь. Покойной ночи!

Оставшись одна, она подошла к окну и встала перед ним, глядя на улицу. За окном было холодно и мутно. Играл ветер, сдувая снег с крыш маленьких сонных домов, бился о стены и что-то торопливо шептал, падал на землю и гнал вдоль улицы белые облака сухих снежинок...

— Иисусе Христе, помилуй нас! — тихо прошептала мать.

В сердце закипали слезы, и, подобно ночной бабочке, слепо и жалобно трепетало ожидание горя, о котором так спокойно, уверенно говорил сын. Перед глазами ее встала плоская, снежная равнина. Холодно и тонко посвистывая, носится, мечется ветер, белый, косматый. Посреди равнины одиноко идет, качаясь, небольшая, темная фигурка девушки. Ветер путается у нее в ногах, раздувает юбку, бросает ей в лицо колючие снежинки. Трудно идти, маленькие ноги вязнут в снегу. Холодно и боязно. Девушка наклонилась вперед, и — точно былинка среди мутной равнины, в резвой игре осеннего ветра. Справа от нее, на болоте, темной стеной стоит лес, там уныло шумят тонкие, голые березы и осины. Где-то далеко впереди тускло мелькают огни города...

— Господи — помилуй! — прошептала мать, вздрогнув от страха...

VI

Дни скользили один за другим, как бусы четок, слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, каждое собрание являлось ступенью длинной, пологой лестницы, — она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей.

Появлялись новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. Приходила Наташа, иззябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо веселая и живая. Мать связала ей чулки и сама надела на маленькие ноги. Наташа сначала смеялась, а потом вдруг замолчала, задумалась и тихонько сказала:

— У меня няня была, — тоже удивительно добрая! Как странно, Пелагея Ниловна, — рабочий народ живет такой трудной, такой обидной жизнью, а ведь у него больше сердца, больше доброты, чем у тех!

И махнула рукой, указывая куда-то вдаль, очень далеко от нее.

— Вот какая вы! — сказала Власова. — Родителей лишили и всего. — Она не умела закончить своей мысли, вздохнула и замолчала, глядя в лицо Наташи, чувствуя к ней благодарность за что-то. Она сидела на полу перед ней, а девушка задумчиво улыбалась, наклонив голову.

— Родителей лишили? — повторила она. — Это — ничего! Отец у меня такой грубый, брат тоже. И — пьяница. Старшая сестра — несчастная... Вышла замуж за человека много старше ее... Очень богатый, скучный, жадный. Маму — жалко! Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, так же быстро бегают и всех боится. Иногда — так хочется видеть ее...

— Бедная вы моя! — грустно качая головой, сказала мать.

Девушка быстро вскинула голову и протянула руку, как бы отталкивая что-то.

— О нет! Я порой чувствую такую радость, такое счастье!

У нее побледнело лицо и синие глаза ярко вспыхнули. Положив руки на плечи матери, она глубоким голосом сказала тихо и внушительно:

— Если бы вы знали... если бы вы поняли, какое великое дело делаем мы!..

Что-то близкое зависти коснулось сердца Власовой. Поднимаясь с пола, она грустно проговорила:

— Стара уж я для этого, неграмотна...

...Павел говорил все чаще, больше, все горячее спорил и — худел. Матери казалось, что, когда он говорит с Наташей или смотрит на нее, — его строгие глаза блестят мягче, голос звучит ласковее и весь он становится проще.

«Дай господи!» — думала она. И улыбалась.

Всегда на собраниях, чуть только споры начинали принимать слишком горячий и бурный характер, вставал хохол и, раскачиваясь, точно язык колокола, говорил своим звучным, гудящим голосом что-то простое и доброе, от-

чего все становились спокойнее и серьезнее. Весовщиков постоянно угрюмо торопил всех куда-то, он и рыжий, которого звали Самойлов, первые начинали все споры. С ними соглашался круглоголовый, белобрысый, точно вымытый щелоком, Иван Букин. Яков Сомов, гладкий и чистый, говорил мало, тихим, серьезным голосом, он и большелобый Федя Мазин всегда стояли в спорах на стороне Павла и хохла.

Иногда вместо Наташи являлся из города Николай Иванович, человек в очках, с маленькой, светлой бородкой, уроженец какой-то дальней губернии, — он говорил особенным — на «о» — говорком. Он вообще весь был какой-то далекий. Рассказывал он о простых вещах — о семейной жизни, о детях, о торговле, о полиции, о ценах на хлеб и мясо — обо всем, чем люди живут изо дня в день. И во всем он открывал фальшь, путаницу, что-то глупое, порою смешное, всегда — явно не выгодное людям. Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из другого царства, там все живут честной и легкой жизнью, а здесь — все чужое ему, он не может привыкнуть к этой жизни, принять ее, как необходимую, она не нравится ему и возбуждает в нем спокойное, упрямое желание перестроить все на свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз тонкие, лучистые морщинки, голос тихий, а руки всегда теплые. Здраваясь с Власовой, он обнимал всю ее руку крепкими пальцами, и после такого рукопожатия на душе становилось легче, спокойнее.

Являлись и еще люди из города, чаще других — высокая стройная барышня с огромными глазами на худом, бледном лице. Ее звали Сашенька. В ее походке и движениях было что-то мужское, она сердито хмурила густые, темные брови, а когда говорила — тонкие ноздри ее прямого носа вздрагивали.

Сашенька первая сказала громко и резко:

— Мы — социалисты...

Когда мать услышала это слово, она в молчаливом испуге уставилась в лицо барышни. Она слышала, что социалисты убили царя. Это было во дни ее молодости; тогда говорили, что помещики, желая отомстить царю за то, что он освободил крестьян, дали зарок не стричь себе волос до поры, пока они не убьют его, за это их и назвали социалистами. И теперь она не могла понять — почему же социалист сын ее и товарищи его?

Когда все разошлись, она спросила Павла:

— Павлуша, разве ты социалист?

— Да! — сказал он, стоя перед нею, как всегда, прямо и твердо. — А что?

Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спросила:

— Так ли, Павлуша? Ведь они — против царя, ведь они убили одного.

Павел прошелся по комнате, погладил рукой щеку и, усмехнувшись, сказал:

— Нам это не нужно!

Он долго говорил ей что-то тихим серьезным голосом. Она смотрела ему в лицо и думала:

«Он не сделает ничего худого, он не может!»

А потом страшное слово стало повторяться все чаще, острота его стерлась, и оно сделалось таким же привычным ее уху, как десятки других непонятных слов. Но Сашенька не нравилась ей, и, когда она являлась, мать чувствовала себя тревожно, неловко...

Однажды она сказала хохлу, недовольно поджимая губы:

— Что-то уж очень строга Сашенька! Все приказывает — вы и то должны, вы и это должны...

Хохол громко засмеялся.

— Верно взято! Вы, ненько, в глаз попали! Павел, а?

И, подмигивая матери, сказал с усмешкой в глазах:

— Дворянство!

Павел сухо заметил:

— Она хороший человек.

— Это верно! — подтвердил хохол. — Только не понимает, что она — должна, а мы — хотим и можем!

Они заспорили о чем-то непонятном.

Мать заметила также, что Сашенька наиболее строго относится к Павлу, иногда она даже кричит на него. Павел, усмехаясь, молчал и смотрел в лицо девушки тем мягким взглядом, каким ранее он смотрел в лицо Наташи. Это тоже не нравилось матери.

Иногда мать поражало настроение буйной радости, вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью, все становилось странно, как-то по-детски счастливы, смеялись веселым, ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам.

— Молодцы товарищи немцы! — кричал кто-нибудь, точно опьяненный своим весельем.

— Да здравствуют рабочие Италии! — кричали в другой раз.

И, посылая эти крики куда-то вдаль, друзьям, которые не знали их и не могли понять их языка, они, казалось, были уверены, что люди, неведомые им, слышат и понимают их восторг.

Хохол говорил, блестя глазами, полный всех обнимающего чувства любви:

— Хорошо бы написать им туда, а? Чтобы знали они, что в России живут у них друзья, которые веруют и исповедуют одну религию с ними, живут люди одних целей и радуются их победам!

И все мечтательно, с улыбками на лицах, долго говорили о французах, англичанах и шведах, как о своих друзьях, о близких сердцу людях, которых они уважают, живут их радостями, чувствуют горе.

В тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех в одну душу, волнуя и мать; хотя было оно непонятно ей, но выпрямляло ее своей силой, радостной и юной, охмеляющей и полной надежд.

— Какие вы! — сказала она хохлу как-то раз. — Все вам товарищи — армяне, и евреи, и австрияки, — за всех печаль и радость!

— За всех, моя ненько, за всех! — воскликнул хохол. — Для нас нет наций, нет племен, есть только товарищи, только враги. Все рабочие — наши товарищи, все богатые, все правительства — наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, как нас, рабочих, много, сколько силы мы несем, — такая радость обнимает сердце, такой великий праздник в груди! И так же, ненько, чувствует француз и немец, когда они взглянут на жизнь, и так же радуется итальянец. Мы все — дети одной матери — непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо — в сердце рабочего, и кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист — наш брат по духу всегда, ныне и присно и во веки веков!

Эта детская, но крепкая вера все чаще возникала среди них, все возвышалась и росла в своей могучей силе. И когда мать видела ее, она невольно чувствовала, что воистину в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимого ею.

Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то особенно складные, но невеселые и необычные по напевам. Их пели вполголоса, серьезно, точно церковное. Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных словах чувствовалась большая сила.

Особенно одна из новых песен тревожила и волновала женщину. В этой песне не слышно было печального

раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темным тропам горестных недоумений, стонов души, забитой нуждой, запуганной страхом, безличной и бесцветной. И не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающие крики задорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. В ней не было слепого чувства мести и обиды, которое способно все разрушить, бессильное что-нибудь создать, — в этой песне не слышно было ничего от старого, рабьего мира.

Резкие слова и суровый напев ее не нравились матери, но за словами и напевом было нечто большее, оно заглушало звук и слово своею силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли. Это нечто она видела на лицах, в глазах молодежи, она чувствовала в их грудях и, поддаваясь силе песни, не умищавшейся в словах и звуках, всегда слушала ее с особенным вниманием, с тревогой более глубокой, чем все другие песни.

Эту песню пели тише других, но она звучала сильнее всех и обнимала людей, как воздух мартовского дня — первого дня грядущей весны.

— Пора нам это на улице запеть! — угрюмо говорил Весовщиков.

Когда его отец снова что-то украл и сел в тюрьму, Николай спокойно заявил товарищам:

— Теперь у меня можно собираться...

Почти каждый вечер после работы у Павла сидел кто-нибудь из товарищей, и они читали, что-то выписывали из книг, озабоченные, не успевшие умыться. Ужинали и пили чай с книжками в руках, и все более непонятны для матери были их речи.

— Нам нужна газета! — часто говорил Павел.

Жизнь становилась торопливой и лихорадочной, люди все быстрее перебегали от одной книги к другой, точно пчелы с цветка на цветок.

— Поговаривают про нас! — сказал однажды Весовщиков. — Должны мы скоро провалиться...

— На то и перепел, чтобы в сети попасть! — отозвался хохол.

Он все больше нравился матери. Когда он называл ее «ненько», это слово точно гладило ее щеки мягкой, детской рукой. По воскресеньям, если Павлу было некогда, он колол дрова, однажды пришел с доской на плече и, взяв топор, быстро и ловко переменял сгнившую ступень на крыльце, другой раз так же незаметно починил завалившийся забор. Работая, он свистел, и свист у него был красиво печальный.

Однажды мать сказала сыну:

— Давай возьмем хохла себе в нахлебники? Лучше будет обоим вам — не бегать друг к другу.

— Зачем вам стеснять себя? — спросил Павел, пожимая плечами.

— Ну, вот еще! Всю жизнь стеснялась, не зная для чего, — для хорошего человека можно!

— Делайте, как хотите! — отозвался сын. — Коли он переедет — я буду рад...

И хохол перебрался к ним.

VIII

Маленький дом на окраине слободки будил внимание людей; стены его уже щупали десятки подозрительных взглядов. Над ним беспокойно реяли пестрые крылья молвы, — люди старались спугнуть, обнаружить что-то, притаившееся за стенами дома над оврагом. По ночам заглядывали в окна, иногда кто-то стучал в стекло и быстро, пугливо убежал прочь.

Однажды Власову остановил на улице трактирщик Бегунцов, благообразный старичок, всегда носивший черную шелковую косынку на красной, дряблой шее, а на

груди толстый плюшевый жилет лилового цвета. На его носу, остром и блестящем, сидели черепаховые очки, и за это его звали — Костяные Глаза.

Остановив Власову, он одним дыханием и не ожидая ответов закидал ее трескучими и сухими словами:

— Пелагея Ниловна, как здравствуете? Сынок как? Женить не собираетесь, а? Юноша в полной силе для супружества. Женить сына пораньше — родителям спокойнее. В семье человек лучше сохраняется и духом и плотию, в семье он — вроде гриба в уксусе! Я бы на вашем месте женил его. Время наше требует строгого надзора за существом человека, люди начинают жить из своей головы. В мыслях разброд пошел, и поступки достойны порицания. Божию церковь молодежь обходит, публичных мест чуждается и, собираясь тайно, по углам — шепчет. Зачем шепчут, позвольте узнать? Зачем бегут людей? Все, чего человек не смеет сказать при людях — в трактире, например, — что это такое есть? Тайна! Тайне же место — наша святая, равноапостольная церковь. Все же другие тайности, по углам совершаемые, — от заблуждения ума! Желая вам доброго здоровья!

Вычурно изогнутой рукой он снял картуз, взмахнул им в воздухе и ушел, оставив мать в недоумении.

Соседка Власовых, Марья Корсунова, вдова кузнеца, торговавшая у ворот фабрики съестным, встретив мать на базаре, тоже сказала:

— Поглядывай за сыном, Пелагея!

— Что такое? — спросила мать.

— Слух идет! — таинственно сообщила Марья. — Хороший, мать ты моя! Будто он устраивает артель такую, вроде хлыстов. Секты — называется это. Сечь будут друг друга, как хлысты...

— Полно, Марья, ерунду пороть!

— Не тот врет, кто порет, а тот, кто шьет! — отозвалась торговка.

Мать передавала сыну все эти разговоры, он молча пожимал плечами, а хохол смеялся своим густым, мягким смехом.

— Девицы тоже очень обижаются на вас! — говорила она. — Женихи вы для всякой девушки завидные и работники все хорошие, непьющие, а внимания на девиц не обращаете! Говорят, будто ходят к вам из города барышни зазорного поведения...

— Ну, конечно! — брезгливо сморщив лицо, воскликнул Павел.

— На болоте все гнилью пахнет! — вздохнув, молвил хохол. — А вы бы, ненько, объяснили им, дурочкам, что такое замужество, чтобы не торопились они изломать себе кости...

— Эх, батюшка! — сказала мать. — Они горе видят, они понимают, да ведь деваться им некуда, кроме этого!

— Плохо понимают, а то бы нашли путь! — заметил Павел.

Мать взглянула на его строгое лицо.

— А вы — поучите их! Позвали бы которых поумнее к себе...

— Это неудобно! — сухо отозвался сын.

— А если попробовать? — спросил хохол.

Павел помолчал и ответил:

— Начнутся прогулки парочками, потом некоторые поженятся, вот и все!

Мать задумалась. Монашеская суровость Павла смущала ее. Она видела, что его советов слушаются даже те товарищи, которые — как хохол — старше его годами, но ей казалось, что все боятся его и никто не любит за эту сухость.

Как-то раз, когда она легла спать, а сын и хохол еще читали, она подслушала сквозь тонкую переборку их тихий разговор.

— Нравится мне Наташа, знаешь? — вдруг тихо воскликнул хохол.

— Знаю! — не сразу ответил Павел.

Было слышно, как хохол медленно встал и начал ходить. По полу шаркали его босые ноги. И раздался тихий, заунывный свист. Потом снова загудел его голос:

— А замечает она это?

Павел молчал.

— Как ты думаешь? — понизив голос, спросил хохол.

— Замечает! — ответил Павел. — Поэтому и отказалась заниматься у нас...

Хохол тяжело возил ноги по полу, и снова в комнате дрожал его тихий свист. Потом он спросил:

— А если я скажу ей...

— Что?

— Что вот я... — тихо начал хохол.

— Зачем? — прервал его Павел.

Мать услышала, что хохол остановился, и почувствовала, что он усмехается.

— Да я, видишь, полагаю, что если любишь девушку, то надо же ей сказать об этом, иначе не будет никакого толка!

Павел громко захлопнул книгу. Был слышен его вопрос:

— А какого толка ты ждешь?

Оба долго молчали.

— Ну? — спросил хохол.

— Надо, Андрей, ясно представлять себе, чего хочешь, — заговорил Павел медленно. — Положим, и она тебя любит, — я этого не думаю, — но положим, так! И вы — поженитесь. Интересный брак — интеллигентка и рабочий! Родятся дети, работать тебе надо будет одному.. и — много. Жизнь ваша станет жизнью из-за куска хлеба, для детей, для квартиры; для дела — вас больше нет. Обоих нет!

Стало тихо. Потом Павел заговорил как будто мягче:

— Ты лучше брось все это, Андрей. И не смущай ее...

Тихо. Отчетливо стучит маятник часов, мерно отсекая секунды.

Хохол сказал:

— Половина сердца — любит, половина ненавидит, разве ж это сердце, а?

Зашелестели страницы книги — должно быть, Павел снова начал читать. Мать лежала, закрыв глаза, и боялась пошевелиться. Ей было до слез жаль хохла, но еще более сына. Она думала о нем: «Милый ты мой...»

Вдруг хохол спросил:

— Так — молчать?

— Это — честнее, — тихо сказал Павел.

— По этой дороге и пойдем! — сказал хохол. И через несколько секунд продолжал грустно и тихо: — Трудно тебе будет, Паша, когда ты сам вот так...

— Мне уже трудно...

О стены дома шаркал ветер. Четко считал уходящее время маятник часов.

— Над этим — не посмеешься! — медленно проговорил хохол.

Мать ткнулась лицом в подушку и беззвучно заплакала.

Наутро Андрей показался матери ниже ростом и еще милее. А сын, как всегда, худ, прям и молчалив. Раньше мать называла хохла Андрей Онисимович, а сегодня, не замечая, сказала ему:

— Вам, Андрюша, сапоги-то починить надо бы, — так вы ноги простудите!

— А я в получку новые куплю! — ответил он, засмеялся и вдруг, положив ей на плечо свою длинную руку, спросил: — А может, вы и есть родная моя мать? Только вам не хочется в том признаться людям, как я очень некрасивый, а?

Она молча похлопала его по руке. Ей хотелось сказать ему много ласковых слов, но сердце ее было стиснуто жалостью, и слова не шли с языка.

IX

В слободке говорили о социалистах, которые разбрасывают написанные синими чернилами листки. В этих листках зло писали о порядках на фабрике, о стачках рабочих в Петербурге и в южной России, рабочие призывались к объединению и борьбе за свои интересы.

Пожилые люди, имевшие на фабрике хороший заработок, ругались:

— Смутьяны! За такие дела надо морду бить!

И носили листки в контору. Молодежь читала прокламации с увлечением:

— Правда!

Большинство, забитое работой и ко всему равнодушное, лениво отзывалось:

— Ничего не будет, — разве можно?

Но листки волновали людей, и, если их не было неделю, люди уже говорили друг другу:

— Бросили, видно, печатать...

А в понедельник листки снова появлялись, и снова рабочие глухо шумели.

В трактире и на фабрике замечали новых, никому не известных людей. Они выпрашивали, рассматривали, нюхали и сразу бросались всем в глаза, одни — подозрительной осторожностью, другие — излишней навязчивостью.

Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. Она видела, как люди стягивались вокруг него, — и опасения за судьбу Павла сливались с гордостью за него.

Как-то вечером Марья Корсунова постучала с улицы в окно, и, когда мать открыла раму, она громким шепотом заговорила:

— Держись, Пелагея, доигрались, голубчики! Ночью сегодня обыск решен у вас, у Мазина, у Весовщикова...

Толстые губы Марьи торопливо шлепались одна о другую, мясистый нос сопел, глаза мигали и косились из стороны в сторону, выслеживая кого-то на улице.

— А я ничего не знаю, и ничего я тебе не говорила и даже не видела тебя сегодня, — слышишь?

Она исчезла.

Мать, закрыв окно, медленно опустилась на стул. Но сознание опасности, грозившей сыну, быстро подняло ее на ноги, она живо оделась, зачем-то плотно укутала голову шалью и побежала к Феде Мазину, — он был болен и не работал. Когда она пришла к нему, он сидел под окном, читая книгу, и качал левой рукой правую, оттопырив большой палец. Узнав новость, он быстро вскочил, его лицо побледнело.

— Вот те и раз... — пробормотал он.

— Что надо делать-то? — дрожащей рукой отирая с лица пот, спрашивала Власова.

— Погодите, — вы не бойтесь! — ответил Федя, поглаживая здоровой рукой курчавые волосы.

— Да ведь вы сами-то боитесь! — воскликнула она.

— Я? — Щеки его вспыхнули румянцем, и, смущенно улыбаясь, он сказал: — Да-а, черт... Надо Павлу сказать. Я сейчас пошлю к нему! Вы идите, — ничего! Ведь бить не будут?

Возвратись домой, она собрала все книжки и, прижав их к груди, долго ходила по дому, заглядывая в печь, под печку, даже в кадку с водой. Ей казалось, что Павел сейчас же бросит работу и придет домой, а он не шел. Наконец, усталая, она села в кухне на лавку, подложив под себя книги, и так, боясь встать, просидела до поры, пока не пришли с фабрики Павел и хохол.

— Знаете? — воскликнула она, не вставая.

— Знаем! — улыбаясь, сказал Павел. — Боишься?

— Так боюсь, так боюсь!..

— Не надо бояться! — сказал хохол. — Это — ничему по помогает.

— Даже самовар не поставила! — заметил Павел.

Мать встала и, указывая на книжки, виновато объяснила:

— Да я вот все с ними...

Сын и хохол засмеялись, это ободрило ее. Павел отобрал несколько книг и понес их прятать на двор, а хохол, ставя самовар, говорил:

— Совсем ничего нет страшного, ненько, только стыдно за людей, что они пустяками занимаются. Придут взрослые мужчины с саблями на боку, со шпорами на сапогах и роются везде. Под кровать заглянут и под печку, погреб есть — в погреб полезут, на чердак сходят. Там им на рожи паутина садится, они фыркают. Скучно им, стыдно, оттого они делают вид, будто очень злые люди и сердятся на вас. Поганая работа, они же понимают! Один раз порыли у меня всё, сконфузились и ушли просто, а другой раз захватили и меня с собой. Посадили в тюрьму, месяца четыре сидел я. Сидишь-сидишь, позовут к себе, проведут по улице с солдатами, спросят что-нибудь. Народ они неумный, говорят несуразное такое, поговорят — опять велют солдатам в тюрьму отвести. Так и водят туда и сюда, — надо же им жалованье свое оправдать! А потом выпустят на волю, — вот и все!

— Как вы всегда говорите, Андрюша! — воскликнула мать.

Стоя на коленях около самовара, он усердно дул в трубу, но тут поднял свое лицо, красное от напряжения, и, обеими руками расправляя усы, спросил:

— А как говорю?

— Да будто вас никто никогда не обижал...

Он встал и, тряхнув головой, заговорил, улыбаясь:

— Разве же есть где на земле необиженная душа? Меня столько обижали, что я уже устал обижаться. Что поделаешь, если люди не могут иначе? Обиды мешают дело делать, останавливаться около них — даром время терять.

Такая жизнь! Я прежде, бывало, сердился на людей, а подумал, — вижу — не стоит. Всякий боится, как бы сосед не ударил, ну и старается поскорее сам в ухо дать. Такая жизнь, ненько, моя!

Речь его лилась спокойно и отталкивала куда-то в сторону тревогу ожидания обыска, выпуклые глаза светло улыбались, и весь он, хотя и нескладный, был такой гибкий.

Мать вздохнула и тепло пожелала ему:

— Дал бы вам бог счастья, Андрюша!

Хохол широко шагнул к самовару, снова сел на корточ-ки перед ним и тихо пробормотал:

— Дадут счастья — не откажусь, просить — не стану!

Вошел Павел со двора, уверенно сказал:

— Не найдут! — и стал умываться.

Потом, крепко и тщательно вытирая руки, заговорил:

— Если вы, мамаша, покажете им, что испугались, они подумают: значит, в этом доме что-то есть, коли она так дрожит. Вы ведь понимаете — дурного мы не хотим, на нашей стороне правда, и всю жизнь мы будем работать для нее — вот вся наша вина! Чего же бояться?

— Я, Паша, скреплюсь, — пообещала она. И вслед за тем у нее тоскливо вырвалось: — Уж скорее бы прихотили они!

А они не пришли в эту ночь, и наутро, предупреждая возможность шуток над ее страхом, мать первая стала шутить над собой:

— Прежде страха испугалась!

Х

Они явились почти через месяц после тревожной ночи. У Павла сидел Николай Весовщиков, и, втроем с Андреем, они говорили о своей газете. Было поздно,

около полуночи. Мать уже легла и, засыпая, сквозь дрему слышала озабоченные, тихие голоса. Вот Андрей, осторожно шагая, прошел через кухню, тихо притворил за собой дверь. В сенях загремело железное ведро. И вдруг дверь широко распахнулась — хохол шагнул в кухню, громко шепнув:

— Шпоры звенят!

Мать вскочила с постели, дрожащими руками хватая платье, но в двери из комнаты явился Павел и спокойно сказал:

— Вы лежите, — вам нездоровится!

В сенях был слышен осторожный шорох. Павел подошел к двери и, толкнув ее рукой, спросил:

— Кто там?

В дверь странно быстро ввернулась высокая, серая фигура, за ней другая, двое жандармов оттеснили Павла, встали по бокам у него, и прозвучал высокий, насмешливый голос:

— Не те, кого вы ждали, а?

Это сказал высокий, тонкий офицер с черными, редкими усами. У постели матери появился слободский полицейский Федякин и, приложив одну руку к фуражке, а другою указывая в лицо матери, сказал, сделав страшные глаза:

— Вот это мать его, ваше благородие! — И, махнув рукой на Павла, прибавил: — А это — он самый!

— Павел Власов? — спросил офицер, прищутив глаза, и, когда Павел молча кивнул головой, он заявил, крутя ус: — Я должен произвести обыск у тебя. Старуха, встань! Там — кто? — спросил он, заглядывая в комнату, и порывисто шагнул к двери.

— Ваши фамилии? — раздался его голос.

Из сеней вышли двое понятых — старый литейщик Тверяков и его постоялец, кочегар Рыбин, солидный, черный мужик. Он густо и громко сказал:

— Здравствуй, Ниловна!

Она одевалась и, чтобы придать себе бодрости, тихонько говорила:

— Что уж это! Приходят ночью, — люди спать легли, а они приходят!..

В комнате было тесно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармов и слободский пристав Рыскин, громко топая ногами, снимали с полки книги и складывали их на стол перед офицером. Другие двое стучали кулаками по стенам, заглядывали под стулья, один неуклюже лез на печь. Хохол и Весовщиков, тесно прижавшись друг к другу, стояли в углу. Рябое лицо Николая покрылось красными пятнами, его маленькие, серые глаза, не отрываясь, смотрели на офицера. Хохол крутил усы, и, когда мать вошла в комнату, он, усмехнувшись, ласково кивнул ей головой.

Стараясь подавить свой страх, она двигалась не боком, как всегда, а прямо, грудью вперед, — это придавало ее фигуре смешную и напыщенную важность. Она громко топала ногами, а брови у нее дрожали...

Офицер быстро хватал книги тонкими пальцами белой руки, перелистывал их, встряхивал и ловким движением кисти отбрасывал в сторону. Порою книга мягко шлепалась на пол. Все молчали, было слышно тяжелое сопение вспотевших жандармов, звякали шпоры, иногда раздавался негромкий вопрос:

— Здесь смотрел?

Мать встала рядом с Павлом у стены, сложила руки на груди, как это сделал он, и тоже смотрела на офицера. У нее вздрагивало под коленями и глаза застилал сухой туман.

Вдруг среди молчания раздался режущий ухо голос Николая:

— А зачем это нужно — бросать книги на пол?

Мать вздрогнула. Тверяков качнул головой, точно его толкнули в затылок, а Рыбин крикнул и внимательно посмотрел на Николая.

Офицер прищурил глаза и воткнул их на секунду в рябое, неподвижное лицо. Пальцы его еще быстрее стали перебрасывать страницы книг. Порою он так широко открывал свои большие серые глаза, как будто ему было невыносимо больно и он готов крикнуть громким криком бессильной злобы на эту боль.

— Солдат! — снова сказал Весовщиков. — Подними книги...

Все жандармы обернулись к нему, потом посмотрели на офицера. Он снова поднял голову и, окинув широкую фигуру Николая испытующим взглядом, протянул в нос:

— Н-но... поднимите...

Один жандарм нагнулся и, искоса глядя на Весовщикова, стал подбирать с пола растрепанные книги...

— Молчать бы Николаю-то! — тихо шепнула мать Павлу.

Он пожал плечами. Хохол опустил голову.

— Кто это читает Библию?

— Я! — сказал Павел.

— А чьи все эти книги?

— Мои! — ответил Павел.

— Так! — сказал офицер, откидываясь на спинку стула. Хрустнул пальцами тонких рук, вытянул под столом ноги, поправил усы и спросил Николая:

— Это ты — Андрей Находка?

— Я! — ответил Николай, подвигаясь вперед. Хохол вытянул руку, взял его за плечо и отодвинул назад.

— Он ошибся! Я — Андрей!..

Офицер, подняв руку и, грозя Весовщикову маленьким пальцем, сказал:

— Смотри ты у меня!

Он начал рыться в своих бумагах.

С улицы в окно бездушными глазами смотрела светлая, лунная ночь. Кто-то медленно ходил за окном, скрипел снег.

— Ты, Находка, привлекался уже к дознанию по политическим преступлениям? — спросил офицер.

— В Ростове привлекался и в Саратове... Только там жандармы говорили мне — «вы»...

Офицер мигнул правым глазом, потер его и, оскалив мелкие зубы, заговорил:

— А не известно ли вам, Находка, именно вам, — кто те мерзавцы, которые разбрасывают на фабрике преступные воззвания, а?

Хохол покачнулся на ногах и, широко улыбаясь, хотел что-то сказать, но — вновь прозвучал раздражающий голос Николая:

— Мы мерзавцев первый раз видим...

Наступило молчание, все остановились на секунду.

Шрам на лице матери побелел, и правая бровь всползла кверху. У Рыбина странно задрожала его черная борода; опустив глаза, он стал медленно расчесывать ее пальцами.

— Выведите вон этого скота! — сказал офицер.

Двое жандармов взяли Николая под руки, грубо повели его в кухню. Там он остановился, крепко упираясь ногами в пол, и крикнул:

— Стойте... я оденусь!

Со двора явился пристав и сказал:

— Ничего нет, всё осмотрели!

— Ну, разумеется! — воскликнул офицер, усмехаясь. — Здесь — опытный человек...

Мать слушала его слабый, вздрагивающий и ломкий голос и, со страхом глядя в желтое лицо, чувствовала в этом человеке врага без жалости, с сердцем, полным барского презрения к людям. Она мало видела таких людей и почти забыла, что они есть.

«Бог кого потревожили!» — думала она.

— Вас, господин Андрей Онисимов Находка, незаконно рожденный, я арестую!

— За что? — спокойно спросил хохол.

— Это я вам после скажу! — со злой вежливостью ответил офицер. И, обратясь к Власовой, спросил: — Ты грамотна?

— Нет! — ответил Павел.

— Я не тебя спрашиваю! — строго сказал офицер и снова спросил: — Старуха, — отвечай!

Мать, невольно отдаваясь чувству ненависти к этому человеку, вдруг, точно прыгнув в холодную воду, охваченная дрожью, выпрямилась, шрам ее побагровел, и бровь низко опустилась.

— Вы не кричите! — заговорила она, протянув к нему руку. — Вы еще молодой человек, вы горя не знаете...

— Успокойтесь, мамаша! — остановил ее Павел.

— погоди, Павел! — крикнула мать, порываясь к столу. — Зачем вы людей хватаете?

— Это вас не касается, — молчать! — крикнул офицер, вставая. — Введите арестованного Весовщикова!

И начал читать какую-то бумагу, подняв ее к лицу.

Ввели Николая.

— Шапку снять! — крикнул офицер, прервав чтение.

Рыбин подошел к Власовой и, толкнув ее плечом, тихонько сказал:

— Не горячись, мать...

— Как же я сниму шапку, если меня за руки держат? — спросил Николай, заглушая чтение протокола.

Офицер бросил бумагу на стол.

— Подписать!

Мать смотрела, как подписывают протокол, ее возбуждение погасло, сердце упало, на глаза навернулись слезы обиды, бессилия. Этими слезами она плакала двадцать лет своего замужества, но последние годы почти забыла их разъедающий вкус; офицер посмотрел на нее и, брезгливо сморщив лицо, заметил:

— Вы преждевременно ревете, сударыня! Смотрите, вам не хватит слез впоследствии!

Снова озлобляясь, она сказала:

— У матери на все слез хватит, на все! Коли у вас есть мать — она это знает, да!

Офицер торопливо укладывал бумаги в новенький портфель с блестящим замком.

— Марш! — скомандовал он.

— До свиданья, Андрей, до свиданья, Николай! — тепло и тихо говорил Павел, пожимая товарищам руки.

— Вот именно — до свиданья! — усмехаясь, повторил офицер.

Весовщиков тяжело сопел. Его толстая шея налилась кровью, глаза сверкали жесткой злобой. Хохол блестел улыбками, кивал головой и что-то говорил матери, она крестила его и тоже говорила:

— Бог видит правых...

Наконец толпа людей в серых шинелях вывалилась в сени и, прозвенев шпорами, исчезла. Последним вышел Рыбин, он окинул Павла внимательным взглядом темных глаз, задумчиво сказал:

— Н-ну, прощайте!

И, покашливая в бороду, неторопливо вышел в сени.

Заложив руки за спину, Павел медленно ходил по комнате, перешагивая через книги и белье, валявшееся на полу, и говорил угрюмо:

— Видишь, — как это делается?..

Недоуменно рассматривая развороченную комнату, мать тоскливо прошептала:

— Зачем Николай грубил ему?..

— Испугался, должно быть, — тихо сказал Павел.

— Пришли, схватили, увели, — бормотала мать, разводя руками.

Сын остался дома, сердце ее стало биться спокойнее, а мысль стояла неподвижно перед фактом и не могла обнять его.

— Насмехается этот желтый, грозит...

— Хорошо, мать! — вдруг решительно сказал Павел. — Давай уберем все это...

Он сказал ей «мать» и «ты», как говорил только тогда, когда вставал ближе к ней. Она подвинулась к нему, заглянула в его лицо и тихонько спросила:

— Обидели тебя?

— Да! — ответил он. — Это тяжело! Лучше бы с ними...

Ей показалось, что у него на глазах слезы, и, желая утешить, смутно чувствуя его боль, она, вздохнув, сказала:

— погоди, возьмут и тебя!

— Возьмут! — отозвался он.

Помолчав, мать грустно заметила:

— Экий ты, Паша, суровый! Хоть бы ты когда-нибудь утешил меня! А то — я скажу страшно, а ты еще страшнее.

Он взглянул на нее, подошел и тихо проговорил:

— Не умею я, мама! Надо тебе привыкнуть к этому.

Она вздохнула и, помолчав, заговорила, сдерживая дрожь страха:

— А может, они пытаются людей? Рвут тело, ломают косточки? Как подумаю я об этом, Паша, милый, страшно!..

— Они душу ломают... Это больнее — когда душу грязными руками...

XI

На другой день стало известно, что арестованы Букин, Самойлов, Сомов и еще пятеро. Вечером забегал Федя Мазин — у него тоже был обыск, и, довольный этим, он чувствовал себя героем.

— Боялся, Федя? — спросила мать.

Он побледнел, лицо его заострилось, ноздри дрогнули.

— Боялся, что ударит офицер! Он — чернобородый, толстый, пальцы у него в шерсти, а на носу — черные очки, точно — безглазый. Кричал, топал ногами! В тюрьме

сгною, говорит! А меня никогда не били, ни отец, ни мать, я — один сын, они меня любили.

Он закрыл на миг глаза, сжал губы, быстрым жестом обеих рук взбил волосы на голове и, глядя на Павла покрасневшими глазами, сказал:

— Если меня когда-нибудь ударят, я весь, как нож, воткнусь в человека, — зубами буду грызть, — пусть уж сразу добьют!

— Тонкий ты, худенький! — воскликнула мать. — Куда тебе драться?

— Буду! — тихо ответил Федя.

Когда он ушел, мать сказала Павлу:

— Этот раньше всех сломится!..

Павел промолчал.

Через несколько минут дверь в кухню медленно отворилась, вошел Рыбин.

— Здравствуйте! — усмехаясь, молвил он. — Вот — опять я. Вчера привели, а сегодня — сам пришел! — Он сильно потряс руку Павла, взял мать за плечо и спросил: — Чаем напоишь?

Павел молча рассматривал его смуглое, широкое лицо в густой, черной бороде и темные глаза. В спокойном взгляде светилось что-то значительное.

Мать ушла в кухню ставить самовар. Рыбин сел, погладил бороду и, положив локти на стол, окинул Павла темным взглядом.

— Так вот! — сказал он, как бы продолжая прерванный разговор. — Мне с тобой надо поговорить открыто. Я тебя долго оглядывал. Живем мы почти рядом; вижу — народу к тебе ходит много, а пьянства и безобразия нет. Это первое. Если люди не безобразят, они сразу заметны — что такое? Вот. Я сам глаза людям намял тем, что живу в стороне.

Речь его лилась тяжело, но свободно, он гладил бороду черной рукою и пристально смотрел в лицо Павла.

— Заговорили про тебя. Мои хозяева зовут еретиком — в церковь ты не ходишь. Я тоже не хожу. Потом явились листки эти. Это ты их придумал?

— Я! — ответил Павел.

— Уж и ты! — тревожно воскликнула мать, выглядывая из кухни. — Не один ты!

Павел усмехнулся. Рыбин тоже.

— Так! — сказал он.

Мать громко потянула носом воздух и ушла, немно- го обиженная тем, что они не обратили внимания на ее слова.

— Листки — это хорошо придумано. Они народ бес- покоят. Девятнадцать было!

— Да! — ответил Павел.

— Значит, — все я читал! Так. Есть в них непонятное, есть лишнее, — ну, когда человек много говорит, ему слов с десяток и зря сказать приходится...

Рыбин улыбнулся, — зубы у него были белые и креп- кие.

— Потом — обыск. Это меня расположило больше все- го. И ты, и хохол, и Николай — все вы обнаружились...

Не находя нужного слова, он замолчал, взглянул в окно, постучал пальцами по столу.

— Обнаружили решение ваше. Дескать, ты, ваше бла- городие, делай свое дело, а мы будем делать — свое. Хохол тоже хороший парень. Иной раз слушаю я, как он на фа- брике говорит, и думаю — этого не сомнешь, его только смерть одолеет. Жилистый человек! Ты мне, Павел, ве- ришь?

— Верю! — сказал Павел, кивнув головой.

— Вот. Гляди — мне сорок лет, я вдвое старше тебя, в двадцать раз больше видел. В солдатах три года с лиш- ком шагал, женат был два раза, одна померла, другую бро- сил. На Кавказе был, духоборцев знаю. Они, брат, жизнь не одолеют, нет!

Мать жадно слушала его крепкую речь; было приятно видеть, что к сыну пришел пожилой человек и говорит с ним, точно исповедуется. Но ей казалось, что Павел ведет себя слишком сухо с гостем, и, чтобы смягчить его отношение, она спросила Рыбина:

— Может, поесть хочешь, Михайло Иванович?

— Спасибо, мать! Я поужинал. Так вот, Павел, ты, знаешь, думаешь, что жизнь идет незаконно?

Павел встал и начал ходить по комнате, заложив руки за спину.

— Она верно идет! — говорил он. — Вот она привела вас ко мне с открытой душой. Нас, которые всю жизнь работают, она соединяет понемногу; будет время — соединит всех! Несправедливо, тяжело построена она для нас, но сама же и открывает нам глаза на свой горький смысл, сама указывает человеку, как ускорить ее ход.

— Верно! — прервал его Рыбин. — Человека надо обновить! Если опаршивеет — своди его в баню, — вымой, надень чистую одежду — выздоровеет! Так! А как же изнутри очистить человека? Вот!

Павел заговорил горячо и резко о начальстве, о фабрике, о том, как за границей рабочие отстаивают свои права. Рыбин порой ударял пальцем по столу, как бы ставя точку. Не однажды он восклицал:

— Так!

И раз, засмеявшись, тихо сказал:

— Э-эх, молод ты! Мало знаешь людей!

Тогда Павел, остановясь против него, серьезно заговорил:

— Не будем говорить о старости и о молодости! Посмотрим лучше, чьи мысли вернее.

— Значит, по-твоему, и богом обманули нас? Так. Я тоже думаю, что религия наша — фальшивая.

Тут вмешалась мать. Когда сын говорил о боге и обо всем, что она связывала с своей верой в него, что было